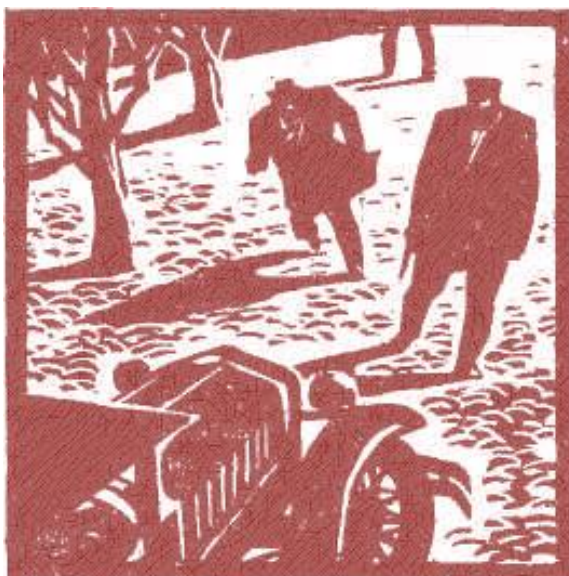


АНАТОЛИЙ БЕЗУГЛОВ, ЮРИЙ КЛАРОВ

ЖИТЕЛЬ «ВОЛЬНОГО ГОРОДА»



Умирая, человек не исчезает бесследно. Он остается жить в прошедшей вместе с ним эпохе, которая стала страницей истории, в своих детях, внуках, правнуках, в воспоминаниях близких, в тех, кто продолжает его дело.

Бойцы внутреннего фронта, как нас некогда именовали, — мои товарищи по Московской уголовно-розыскной милиции времен гражданской войны. Их имена и фамилии уже не числятся в адресном столе, но зато они получили постоянную прописку в истории становления Советской власти, в истории очищения молодой республики от скверны уголовщины. В конце тысяча девятьсот девятнадцатого погиб в бою с деникинцами балтийский матрос Груздь. Тогда же настигла бандитская пуля начальника особой группы розыска Мартынова. Прошло много лет, как убит слесарь с завода Михельсона Виктор Сухоруков, мой закадычный друг, коновод мальчишек нашего двора, который в октябре семнадцатого сражался на улицах Москвы с юнкерами, а в декабре стал работником советской рабоче-крестьянской милиции, куда рекомендовал и меня. Все они пережили свою смерть. Для меня они по-прежнему живы и молоды, точно так же, как и замурзанный беспризорник с Хитрова рынка Тузик, которому сейчас бы, видимо, было за семьдесят.

Но юный житель «вольного города Хивы» — так обитатели Хитровки называли рынок — состариться не успел...

Мой отец, старый врач, которого жители хорошо знали в Городском районе Москвы, был человеком решительным и увлекающимся. От него можно было ожидать всего. Поэтому, когда он в один прекрасный день привел к нам в дом беспризорника с Хитровки и заявил, что тот теперь будет жить у нас, никто не удивился. Моя сестра Вера, которая тогда вместе с подругой готовилась к

выпускным экзаменам на акушерских курсах, молча смерила отца взглядом, отложила в сторону конспекты и, громко стуча каблуками, прошла в столовую.

— Вот этот? — спросила она, брезгливо взглянув на жалкого оборвыша, стоявшего посреди комнаты со сконфуженным и одновременно независимым видом.

— Да-с, этот! — громко ответил отец, у которого всегда появлялся задор, когда он чувствовал себя неуверенно. — Вас не устраивает?

— Нет, ничего, — спокойно сказала Вера, — курносенький.

— Какой есть, других не было! — по-прежнему запальчиво сказал отец, но тут же сник: — Ты, Верочка, не сердись. Я понимаю, экзамены, хлопоты по хозяйству, но...

— Ладно, — прервала его Вера, — чего уж теперь говорить! Что сделано, то сделано. Я так и предполагала, что твое участие в комиссии по оздоровлению Хитрова рынка так просто не кончится. Скажи хоть, как его зовут?

— Тузиком, — потупился отец.

— Тузиком?

— Да, а что?

— Ничего, По крайней мере, не Шарик и не Полкан. Нина! — позвала она подругу. — Тут Семен Иванович сделал нам сюрприз, так не мешало бы его отмыть...

— Кого отмыть?

— Папин сюрприз отмыть. Ты мне поможешь?

«Сюрприз» отмыли, остригли и переодели. Так в нашей квартире появился новый член семьи, беспокойное «дитя улицы», как его называла Вера.

Мальчишка у нас не прижился. Держался он весьма независимо. Отца любил, Веру побаивался, меня не замечал, а нашу прислугу, пухленькую Любашу, почему-то сразу же возненавидел, нередко доводя ее до слез своими далеко не безобидными выходками. Как-то Любаша не выдержала и заявила Вере, что больше оставаться в доме она не может. Или она, или Тузик.

— Позови его сюда, — сказала Вера.

Любаша отправилась на кухню, которая была излюбленным местом юного гражданина «вольного города Хивы», но его там не оказалось. Тузика ждали до вечера — напрасно. Не появился он и на следующий день. Отец было хотел обратиться в полицию. Но Вера строго сказала:

— Хватит, найди себе другое развлечение. Больше мучиться с мальчишкой я не собираюсь.

Вначале о Тузике в нашей семье вспоминали довольно часто, а потом все реже и реже.

Прошел год, до предела заполненный событиями. Умер от разрыва сердца отец. Вера вышла замуж и уехала с мужем в Ростов. Октябрьская революция, провозглашение Советской власти, митинги на Страстной и Скобелевской площадях, отряды вооруженных рабочих и моряков, тревожные сообщения о немецком наступлении, переезд Совнаркома из Петрограда в Москву и белые листки на обшарпанных стенах домов — обращение ВЧК к населению Москвы:

«...Лицам, занимающимся грабежами, убийствами, захватами, налетами и

прочими тому подобными совершенно нетерпимыми преступными деяниями, предлагается в 24 часа покинуть город Москву или совершенно отрешиться от своей преступной деятельности, зная впредь, что через 24 часа после опубликования этого заявления все застигнутые на месте преступления немедленно будут расстреливаться».

ВЧК призывала трудящихся Москвы к активному содействию в ликвидации бандитизма.

Вскоре ВЧК, латышскими стрелками кремлевской охраны и сотрудниками милиции была разгромлена анархистская «черная гвардия». Но это было только началом гигантской работы по установлению правопорядка, которую предстояло провести Советской власти. После всеобщей амнистии, объявленной Временным правительством, Москва была наводнена уголовниками. В цветисто написанном указе Керенского сообщалось, что амнистия должна способствовать «напряжению всех творческих сил народа», а амнистированные уголовники призывались к защите Родины и Отечества, для «утверждения законности в новом строе». Только из тюрем Москвы и Московской губернии было выпущено более трех тысяч опасных преступников. Они не имели ни денег, ни одежды, ни еды, их трудоустройством никто не интересовался. И амнистированные вместо «утверждения законности в новом строе» занялись своим привычным ремеслом. За первую половину 1917 года число опасных преступлений в Москве увеличилось в четыре раза, к июню в городе уже действовало более тридцати крупных банд, среди которых выделялись хорошо вооруженные шайки Якова Кошелькова, Собана, Гришки-адвоката, Козули, Водопроводчика, Мартазина и Мишки Рябого. Убийства, грабежи, налеты на государственные и общественные учреждения...

И в один из дней 1918 года я в кабинете Виктора Сухорукова написал старательным почерком несколько строк, которые предопределили всю мою дальнейшую жизнь. Вот они:

«Начальнику уголовно-розыскного подотдела административного отдела Московского Совдепа от гражданина Советской Социалистической Республики Александра Семеновича Белецкого. Прошение. Прошу зачислить меня на одно из вакантных мест при вверенной Вам милиции».

Тут же я заполнил и анкету. Впрочем, слово «анкета» в обиход тогда еще не вошло. При царе существовал «формулярный список», а Временное правительство ввело «опросный лист», которым и пользовались пока во всех учреждениях. Он был составлен по лучшим образцам западной демократии, но с учетом русских особенностей. Поэтому в нем на всякий случай стояли помимо других и такие щекотливые вопросы, как сословие и вероисповедание, но зато в скобках указывалось: «Заполняется по желанию». Опросный лист заканчивался знаменательной фразой:

«Правильность показанных в настоящем опросном листе сведений о моей личности подтверждаю честным словом».

Вот она, новая, демократическая Россия!

Затем мы вместе с Виктором пошли к начальнику отдела личного состава Груздю. Он оказался матросом, одним из тех балтийцев, которых прислал

Петроград в Москву в конце октября 1917 года. Круглолицый, плечистый Груздь восседал за громоздким двухтумбовым столом, на котором рядом с письменным прибором из розового мрамора возвышались буханка ржаного хлеба и вместительная жестяная кружка с чаем. На сейфах валялись в художественном беспорядке шинель, бушлат, бомбы, рваная тельняшка и пара сапог. Носок одного из них, словно на страх мировой буржуазии, был грозно разинут, и в его темной пасти поблескивали зубами сказочного дракона гвозди. Увидев Виктора, матрос отложил толстый карандаш, которым, как я успел заметить, рисовал на бумаге, покрывающей стол, чертиков, и грузно встал.

— Здоров! Подыметь есть? — спросил он Виктора и брезгливо поморщился, когда тот достал пачку папирос: — Это не пойдет! Мне бы самосаду. Балтика, она махру уважает... Красота? — кивнул Груздь на стену, где из массивной позолоченной рамы кокетливо смотрела жеманная красавица в наглухо закрытом черном платье. — Одежу я сам дорисовал, — похвастался он, — а то она почитай что голая была. — И пояснил: — Буржуазия, она приличиев не соблюдает...

— Это Белецкий, — представил меня Виктор. — Я тебе о нем говорил.

— Где-то, что-то, вроде, — без особого энтузиазма откликнулся матрос. — Из прослойки, значит?

— Как? — не понял я.

— Из интеллигентов, говорю?

— Сын врача.

Водя по строчкам пожелтевшим от махорки пальцем, Груздь долго изучал опросный лист.

— То, что ты интеллигент, это, конечно, арифметический минус, — наконец изрек он. — Но ежели глядеть диалектически, это от тебя не зависит. Верно? Роковая игра судьбы! А вот то, что ты одинок, в смысле холост, это, понятно, арифметический плюс и очень положительный фактор. Ухлопают бандиты — и никто горячих слез лить не будет. А то тут одного вот такого же зелененького на Сухаревке царапнули, так сюда вся его родня сбежалась. То-то крику было!

— Ну-ну, брось запугивать, — усмехнулся Виктор. — Тебя послушать — можно подумать, что у нас каждую неделю по десять сотрудников убивают!

— А почему маленько и не поугатать? — На толстых щеках Груздя появились смешливые ямочки. — Не куличи печем — революционный порядок наводим! Пусть знает, на что идет. А то захотит на попятную, ан поздно будет!

На следующий день после этого разговора я уже приступил к «исполнению обязанностей агента третьего разряда» особой группы по борьбе с бандитизмом. Начальником особой группы был пожилой рассудительный Мартынов, служивший до революции вагоновожатым в Уваровском трамвайном парке, а его помощником — «обломок старого режима», по определению Груздя, — Федор Алексеевич Савельев. У Савельева было непримечательное лицо с нездоровой, желтоватой кожей. Вялый, флегматичный, всегда скучный, он явно не соответствовал образу интеллектуального сыщика, который создало мое мальчишеское воображение. Между тем Савельев был далеко не заурядной личностью и задолго до революции считался одним из немногих крупных специалистов сыскного дела в России. Он великолепно знал уголовный мир и

обладал феноменальной памятью, о которой рассказывали чудеса. К Савельеву приходили советоваться и агенты, и субинспектора, и инспектора. Он был своего рода справочным бюро.

Вскоре после моего зачисления наша группа была усилена за счет сотрудников бандотдела МЧК и насчитывала теперь около пятидесяти человек.

Это были горячие дни. Вместе с ВЧК мы очистили от уголовников Грачевку, провели крупную операцию в районе Верхней и Нижней Масловки, ликвидировали шайку, занимавшуюся контрабандной торговлей наркотиками, уничтожили бандитские группы Собана и Водопроводчика. Но Мартынов не был удовлетворен результатами. Он хотел большего. Его в первую очередь интересовала Хитровка, которую он вполне обоснованно считал центром бандитизма в Москве.

«Вольный город Хива» издавна был пристанищем всех уголовных элементов города, которые ютились здесь в многочисленных ночлежках. Приюты чуть ли не официально делились на разряды. В высших обитали фальшивомонетчики, налетчики, медвежатники, крупные домушники; в средних находили все, что им требовалось, поездушники, карманники, голубятники, а ночлежки низшего разряда заполнялись преимущественно нищими, портянчиками и мелкой шпаной.

В домах Румянцева, Ярошенко, Кулакова имелись и отдельные комнаты-«нумера», которые предоставлялись почетным гостям. Здесь находили себе приют международные взломщики сейфов, типа Вагновского и Рыдлевского, расстрелянных в 1919 году, известные бандиты, как, например, Павел Морозов, Котов и Мишка Чума, фальшивомонетчики и крупные авантюристы. На Хитровом рынке большими партиями скупали краденое, нюхали кокаин, ночи напролет играли в штосс, железку, ремешок, пили смирновку и ханжу.

За время своей недолгой работы в розыске я уже достаточно наслушался различных историй, связанных с жизнью «вольного города». Слова «Хитров рынок» часто мелькали в приказах, их произносили на совещаниях и заседаниях. То атаман рынка Разумовский убил двух милиционеров, то Мишка Рябой собирался вырезать семью Савельева, то к нам поступали сведения, что после ограбления в Петрограде здания сената все ценности какими-то неизвестными путями переправлены на Хитровку и золотую статую Екатерины II стоимостью 500 тысяч рублей и ларец Петра Великого видели у содержателя чайной Кузнецова...

На Хитровке было проведено несколько операций. Во время одной из них судьба меня вторично свела с Тузиком.

* * *

Наши сани остановились недалеко от Орловской больницы, за которой уже начиналась территория «вольного города». Мартынов поднес к губам свисток и два раза негромко свистнул. Ему точно так же ответили, и из-за дома вынырнул невысокий человек в романовском полушубке. Это был Сеня Булаев, откомандированный к нам из бандотдела МЧК, веселый, разбитной парень, с

которым я успел подружиться.

— Ну как? — коротко спросил Мартынов.

— Все в порядке, Мефодий Николаевич. Гнездышко со всех сторон оцеплено.

— Ну что ж, хорошо, если, понятно, птички уже не улетели.

— Вы со мной будете или внутрь пойдете? — спросил Булаев.

— С вами в оцеплении. Пошли, Сухоруков.

— А мы с Белецким отправимся пить чай к Аннушке, — сказал Савельев и вытер указательным пальцем слезящиеся на ветру глаза.

В зиму восемнадцатого года пострадали многие дома. Не хватало дров, поэтому жильцы ломали деревянные балкончики, отдирали плитусы, рубили ставни. Но особенно досталось Хитровке. После Октябрьской революции большинство нанимателей квартир отсюда сбежало, и хитрованцы, предоставленные самим себе, растащили все, что можно. Обитатели ночлежек ломали нары, выворачивали доски пола, ворошили деревянные крыши. А большой навес посередине площади исчез еще в декабре прошлого года. Рынок выглядел так, словно здесь только вчера прошли орды Чингисхана. Относительно сохранились только Утюг и Сухой овраг, расположенные между площадью и Свинынским переулком.

У входа в трехэтажный каменный дом стояли два бойца из боевой дружины розыска, вдоль стены маячили в сумерках еще несколько фигур с винтовками. Савельев взял меня за локоть, и мы вошли в подъезд. Сразу же потянуло спертым, вонючим воздухом. Лестница не была освещена, я то и дело спотыкался на стертых ступеньках. На площадке между первым и вторым этажами наткнулись на спящего оборванца, который даже не шевельнулся.

Мы вошли в громадную квадратную комнату. Большинство ночлежников спали. С трехъярусных нар свешивались ноги в сапогах, лаптях и опорках. Посреди ночлежки, под висячей керосиновой лампой, прямо на грязном полу, играли в карты. Слышались азартные выкрики игроков:

— Семитко око!

— Имею пятак.

— Угол от пятака...

Где-то в углу хриплый женский голос выводил:

Не понравился ей моей жизни конец,

И с немилым пошла, мне назло, под венец...

Савельев поманил пальцем рыжего парня в суконной чуйке и опойковых сапогах с высокими кожаными калошами, который, видимо, следил здесь за порядком:

— Эй ты, Семен, кажется?..

— Так точно, Федор Алексеевич! — с готовностью откликнулся тот и солдатски щелкнул каблуками. — Что прикажете?

— Севостьянова у себя?

— Так точно.

— Проводи нас.

Парень засуетился:

— Уж и рада вам будет Анна Кузьминична. Вчерась как раз меня спрашивали: «Чего, дескать, Федор Алексеевич про нас забыли? Уж не обидела ли я их ненароком...»

— Ладно языком молоть, — оборвал его Савельев. — Или, может, время выгадываешь?

— А чего мне выгадывать? — честно выкатил глаза парень. — Сами сегодня убедитесь, что зазря столько солдат к дому пригнали. Нам скрывать нечего, а вам всегда очень даже рады!

В сопровождении парня мы прошли в дальний угол ночлежки, занавешенный ситцем, и рыжий условным стуком постучал в дверь.

Загремел запор, и меня ослепил яркий свет.

— Ого! Электричество провела! — сказал Савельев.

— А как же, нешто мы хуже других! — откликнулся мелодичный женский голос. — Заходите, заходите!

О Севостьяновой мне рассказывал Виктор. Она снимала несколько ночлежек и «номеров» в Сухом овраге. Пожалуй, во всей России не было ни одного крупного преступника, который бы хоть раз не побывал в этих «номерах», где можно было получить все — начиная от шампанского «Клико» и кончая полным набором новейших заграничных инструментов для взлома сейфов. Поговаривали, что Севостьянова не только скупает краденое и укрывает преступников, но и участвует в разработке планов ограбления.

Между тем в облике сравнительно молодой женщины, стоящей перед нами, не было ничего настораживающего — обыкновенная мещаночка из Замоскворечья. Миловидное простое лицо, в мочках ушей дешевые серьги, на плечах оренбургский платок. Держалась она просто и свободно; как старая хорошая знакомая, расспрашивала Савельева про семью, ужасалась дороговизной.

— Если так дальше продолжаться будет, Федор Алексеевич, — говорила она, — то хоть ложись да помирай. Никаких возможностей больше нет. Мои-то захребетники вовсе платить перестали. Свобода, говорят, долой эксплуататоров. Ежели б не мои молодцы, то не знаю, как бы с ними и справилась...

Савельев молча ее слушал и посмеивался. Потом Севостьянова вышла в другую комнату и вернулась с подносом, на котором стояли графинчик с узким горлышком и две коньячные рюмки.

— Не побрезгуйте, Федор Алексеевич, откушайте! Меня Севостьянова просто не замечала.

— Коньячок не ко времени, — отрицательно мотнул подбородком Савельев, — а самоварчик поставь.

Чай пил он вкусно, истово, время от времени вытирая большим платком лоснящееся лицо.

— Хорошо! Недаром покойный отец, царство ему небесное, говаривал, что настоящий чай должен быть как поцелуй красавицы — крепким, горячим и сладким.

Постороннему могло показаться, что происходит все это не на Хитровке, в доме Румянцева, а где-то на окраине Москвы, в обывательской квартирке. Пришел к молодой хозяйке пожилой человек, друг семьи, а может быть, крестный.

Скучновато ей со словоохотливым стариком, но виду не покажешь: обидится. Вот и старается показать, что ей интересно. Старичок бывает редко, можно и потерпеть.

Эта иллюзия была нарушена только один раз, когда Савельев внезапно спросил:

— Сколько ты опиума, Аннушка, купила?

В углах рта Севостьяновой легли резкие складки, отчего лицо сразу же стало злым.

— Бог с вами, Федор Алексеевич? Какой опиум?

— А тот самый, что Горбов и Григорьев на складе «Кавказа и Меркурия» «реквизировали».

— Ах, э-этот! — протянула Севостьянова. — Самую малость, фунтиков десять. Налить еще чашку?

— Налей, голубушка, налей, — охотно согласился Савельев. — А свою покупочку завтра с утра к нам завези.

— Чего там везти, Федор Алексеевич? Курам на смех.

— Вот пусть куры и посмеются. А заодно прихватишь золотишко, которое тебе Косой вчера приволок. Договорились?

Когда в комнату ввели первую партию задержанных, Савельев неохотно отодвинулся от столика.

— Так и не дали чаю попить! — сказал он Виктору Сухорукову и протяжно зевнул, похлопывая согнутой ладошкой по рту. — Ну-с, кто здесь из старых знакомых?

— Кажись, я, Федор Алексеевич, — подобострастно скосоротился оборванец с глубоко запавшими глазами.

— Хиромант? Володя?

— Он самый, Федор Алексеевич, — с видимым удовольствием подтвердил оборванец. — Только прибыл в «Хиву», даже приодеться не успел — пожалуйста бриться.

— Ай-яй-яй! — ужаснулся Савельев. — Откуда же ты, милый?

— Из Сольвычегодска я прихрюл, Федор Алексеевич. Как стеклышко чист. Истинный бог, не вру! Век свободы не видать!

— Ну-ну. Не пойман — не вор. Отпустят. А вот тебя, голубчик, придется взять! — Обернулся он к чисто одетому подростку. — Шутка ли, двенадцать краж! Сидоров с ног сбился, тебя разыскивая.

— Бог вам судья, Федор Алексеевич, но только на сухую берете!

— Это ты будешь своей бабушке рассказывать! — обиделся Савельев. — Твою манеру резать карманы я знаю.

Так за три часа облавы перед столом Савельева прошло свыше ста человек, большинство из которых тут же было отпущено. И Савельев, и начальник особой группы были разочарованы. Имелись сведения, что Севостьянова поддерживает тесную связь с бандой Якова Кошелькова, которая на прошлой неделе совершила налет на правление Виндаво-Рыбинский железной дороги и убила двух самокатчиков ВЧК. Но никого из участников этой многочисленной банды в «нумерах» Севостьяновой обнаружить не удалось.

— Из-за такой мелкоты не стоило и ездить! — скучно сказал Савельев Мартынову.

Тот только пожал плечами.

Всего было отобрано восемь человек: пять карманников, два домушника и некий мрачный верзила, подозревавшийся в ограблении на Большой Дмитровке.

Когда бойцы из дружины увели задержанных, мне показалось, что из-за двери, ведущей в соседнюю комнату, донесся какой-то странный звук.

— Кто у вас там?

— Пацан один.

— Какой пацан?

— Приблудыш, сирота, — неохотно ответила Севостьянова. — Хворает... Бабье сердце что воск, пригрела...

Савельев хмыкнул.

— За что я к тебе благоволю, Аннушка, так это за доброту. Всегда любил праведниц!

Когда Савельев и Мартынов вышли, я заглянул в соседнюю комнату, обставленную намного беднее, чем та, в которой мы сидели, и никого не увидел.

— Где же он?

— Да вон, в углу! — нетерпеливо сказала Севостьянова и отдернула ситцевый полог.

На маленьком диванчике под лоскутным одеялом кто-то лежал. Я приподнял край одеяла и увидел пышущее жаром лицо мальчика. Глаза его были полузакрыты. Дышал он прерывисто, хрипло.

Тузик!

Да, ошибки быть не могло, он!

В комнату зашел Виктор Сухоруков.

— Кто там?

— Тузик.

Сухоруков не понял, недоуменно посмотрел на меня. — Ну помнишь, я тебе рассказывал... Тузик, беспризорник. Отец его с Хитровки тогда привел.

— А-а... Житель «вольного города»? — Виктор наклонился над диванчиком: — Испанка. Надо бы в больницу... Давно его прихватило? — спросил он у Севостьяновой.

— Да дней пять будет. Ничего, отлежится.

— Какое там отлежится! На ладан дышит.

— А помрет, — значит, суждено так. Богу виднее.

— Ну, до свиданьица, голубушка! — сказал Савельев, молча наблюдавший всю эту сцену. — Хороший у тебя чаек! — И спросил у нас: — Поехали?

— Да нет, хотим мальчика в больницу сдать.

— Доброе дело. Тогда счастливо.

Виктор попросил у Севостьяновой второе одеяло и тщательно закутал Тузика.

— И охота вам только возиться! — вздохнула Севостьянова.

— Охота, — отрезал Виктор.

* * *

Тузика в Орловской больнице не приняли. Старый фельдшер с прокуренными седыми усами только разводил руками:

— Можете расстреливать, товарищи, а мест нету. Куда я его положу? В морг, что ли?

Фельдшер не врал. Больница была переполнена. Люди лежали не только в палатах и коридорах, но и на полу приемного покоя, в кабинете главного врача, вестибюле. Больные бредили, стонали, рвали ногтями грудь, всхлипывали, ругались.

— Тогда хоть посмотрите его, — сказал Виктор, — лекарство какое дайте или что...

— Вот это можно! — обрадовался фельдшер. — Это с превеликим удовольствием.

Он пощупал у мальчика пульс, поставил градусник и положил на столик пакетик с порошками. Потом на минуту задумался и достал из шкафчика бутылку с микстурой.

— Так что у него?

— Может, испанка, а может, иная какая напасть. Разве угадаешь?

— Как же вы лекарство даете, не зная от чего? — вспыхнул Виктор.

Фельдшер удивленно посмотрел на него.

— То есть?

— «То есть»! — передразнил Виктор. — А ежели его эти порошки в могилу сведут? Фельдшер обиделся.

— Вы меня, молодой человек, не учите-с, не доросли! Да-с! — брызгая слюной и топорща усы, говорил он. — Вы еще, извините за выражение, пеленки у своей матушки мочили, когда я людские страдания облегчал-с. Одному богу известно, кто чем болен, а лекарства между тем всегда выписывали. Такой порядок. Да-с. И если я эти лекарства даю, значит, знаю, что они безопасны и никому никогда вреда не приносили...

— А пользу?

Фельдшер, видимо потеряв от возмущения дар речи, свирепо засопел и повернулся к нам спиной.

— Оставь его, — сказал я Виктору, понимая, что дальнейшая перепалка ни к чему хорошему не приведет.

Извозчика мы, разумеется, не нашли. Тузика пришлось нести на руках. Виктор его держал за плечи, я — за ноги. У Покровских ворот нас остановил патруль. Ругаясь сквозь зубы, Виктор передал мне Тузика и достал документы.

— Служба, — смущенно сказал пожилой солдат, возвращая мандат. — Что о мальчонкой? Сыпняк?

— Будто испанка.

— Подсобить?

Только тут я почувствовал, как устал за эту ночь. Руки у меня онемели, колени дрожали, спина стала совсем мокрой от пота.

— Пожалуйста, папаша, — поспешно сказал я, опасаясь, что Виктор откажется. — Здесь уже рядом. Парнишка не тяжелый, только мы его закутали, чтоб не простыл...

— Да оно и так видно, что тяжесть невелика... — Патрульный передал винтовку своему напарнику, в последний раз жадно затянулся сигаркой, выплюнул ее и растер каблуком сапога. — Давайте! Один управлюсь. — У подъезда моего дома он остановился, прислушался. — Стреляют где-то, что ли? Али показалось? Кажись, показалось... Шалют по ночам. Всякая вошь из щели вылезит, чтоб свою долю кровушки получить. То там, то тут: «Караул, грабят!» Не знаешь, в какую сторону и кидаться. Намедни барышню раздели. Что гады сделали! Сережки у ей в ушах были, так вместе с мясом вырвали. Сидит голая, озябшая, заоченелая да скулит, как кутенок, а кровь так и хлещет...

В Москве проходило уплотнение, и ко мне вселили семью доктора Тушнова. Опасаясь воров, доктор врезал в дверь несколько новых замков, которые можно было открыть — и то не всегда успешно — только изнутри, зная секрет сложной механики.

Я позвонил — молчание. Еще раз.

— Так мы до утра под дверью простоим! — раздраженно сказал Виктор. — Ты не миндальничай, стучи кулаком! Разоспались!

Я последовал его совету, но к двери по-прежнему никто не подходил.

— Сильны спать! — почти с восхищением сказал второй патрульный, который молчал всю дорогу.

— Да не спят они, какой там сон! — возразил другой. — Боятся, вот и затаились. Дай-кась я!

Он положил Тузика на лестничную площадку и грохнул в дверь прикладом.

— Эй, отворяйте!

— У меня оружие, я буду отстреливаться, — послышался из-за двери дрожащий голос доктора.

— Я тебе стрельну! — рявкнул солдат.

— Я брал призы за меткость, — промямлил доктор.

С перепугу он действительно мог выстрелить.

— Борис Николаевич, — вмешался я, стараясь говорить как можно спокойнее и убедительнее, — пожалуйста, не волнуйтесь. Никто на вас не собирается нападать. Это же я и Сухоруков, тот самый Сухоруков, который в нашем дворе живет. Мы пришли ночевать. Вы узнаете мой голос, правда?

— Голос можно изменить.

— Но кому это нужно?

— Грабителям, — последовал обоснованный ответ.

Дипломатические переговоры через дверь продолжались минут десять. Наконец доктор, не снимая цепочки, приоткрыл дверь и только тогда, убедившись, что мы именно те, за кого себя выдаем, впустил нас в прихожую.

В моей комнате, загроможденной мебелью, было холодно и сыро: дома я бывал редко и топил свою «пчелку» от случая к случаю.

Мы уложили Тузика на большую двуспальную кровать, разжав плотно стиснутые зубы, влили в рот немного микстуры. Тузик дернулся, перевернулся на бок, что-то забормотал.

Виктору я постелил на диване, себе — на кушетке. Вместе растопили печурку. Я смертельно устал, голова была тяжелой. Казалось, лягу и тотчас усну. Но сон не

приходил.

— Не спишь? — спросил Виктор.

— Не спится.

— Мне тоже. Вот о нем думаю, о Тузике твоём...

— Завтра я Тушнова попрошу, чтобы посмотрел его.

— Жаль пацана.

— Чего говорить. Ведь для них, вот таких пацанов, мы и революцию делали.

Им-то при коммунизме жить.

Виктор встал с дивана, уселся у печки, закурил. Огонек его папиросы то вспыхивал яркой звездочкой, то почти затухал. Мы молчали, потом Виктор неожиданно спросил:

— Ты как себе коммунизм представляешь?

В теории я чувствовал себя достаточно подкованным! ведь как-никак читал в гимназии Маркса, Энгельса, Каутского, Струве. Я начал говорить об отмирании государства, о ликвидации частной собственности.

— Не то, — прервал он меня. — Ты говоришь, не будет эксплуатации, не будет частной собственности, не будет армии. Сплошное «не». А вот что вместо этих «не» будет?

— Ну, сейчас трудно об этом говорить...

— А что тут говорить? Об этом не говорить, мечтать, что ли, надо. — Виктор улыбнулся: — Ко мне недавно Груздь приходил, просил кальку достать. «На кой черт тебе калька?» — спрашиваю. Мнется. То да се. Наконец признался. Оказывается, он с одним архитектором на квартире живет. Глун... Глан... Не помню фамилии. Молодой парень вроде тебя. Так он, этот архитектор, над городами будущего работает. Города из голубого камня. Дома голубые, дороги голубые, улицы голубые... Как небо.

— Ерунда, фантазия...

— Фантазия — это не ерунда. Без мечты жить нельзя. Вот и Груздь... Калька-то, оказалось, для того архитектора нужна. «Боится, — говорит, — что запоздает, в срок свою работу не кончит. А без кальки и керосина много не начертишь: он по ночам работает. Мы, — говорит Груздь, — с ним по этому вопросу в Совнарком неделю назад заявление отправили: так, дескать, и так, учитывая, что на носу мировая революция и посему остро необходимо создать всемирный стиль архитектуры эпохи коммунизма, просим содействия в снабжении товарища Глана, который разрабатывает таковой, керосином и калькой. Что касается оплаты, то товарищ Глан, учитывая острогу международного момента, от нее отказывается и передает все свои чертежи республике безвозмездно...» Очень Груздь этим делом заинтересован. «Архиположительный фактор, — говорит, — и арифметический плюс...»

Виктор засмеялся, щелчком пальцев подбросил папиросу. Взлетев, она описала крутую дугу и упала где-то посреди комнаты. Огонек рассыпался по полу огненными брызгами. И мне на мгновение показалось, что это из тьмы ночи засверкали освещенные электричеством окна городов будущего. Кто его знает, может, они действительно будут голубыми? И еще я подумал, что сейчас где-то на другом конце Москвы склонилась над ватманом голова неизвестного архитектора,

который убежден, что ему очень нужно торопиться...

Тузик забормотал что-то несвязное, сбросил с себя одеяло. Я укрыл его. Лицо мальчика дышало жаром. А за окном тревожным, беспокойным сном спала Москва — холодная, голодная, разрушенная. Вдоль пустынных улиц гулял ветер, металась в бреду сыпнотифозные, спозаранку выстраивались угрюмые, молчаливые очереди за хлебом, а в гулких комнатах роскошных особняков бывшие аристократы и бывшие либералы раскладывали пасьянсы, пытались угадать точную дату падения Советской власти...

* * *

В стране война, голод, разруха, неустроенность, бандитизм. А жизнь продолжалась. Люди рождались и умирали, женились и расходились. И Сеня Булаев не только ловил бандитов, рассказывал смешные истории и показывал фокусы, но и ухаживал за машинисткой из нашей канцелярии (их тогда именовали пишбарышнями) Нюсей, с которой ходил в синематограф Ханжонкова на «жемчужину сезона» — боевик «Сказка любви дорогой. Молчи, грусть, молчи!», а то и посещал школу танцев с красивым и непонятым названием «Гартунг». И ухаживал он за ней так, как ухаживали за девушками, до него и после него. Правда, иногда он вместо цветов вручал ей кусок сала или воблу. И Нюся не делала различий между цветами и воблой, потому что она все-таки была девушкой 1918 года — голодного года.

Подшучивая над Сеней, мы в глубине души все-таки ему завидовали. Я даже предлагал Виктору сходить как-нибудь для смеха в «Гартунг». Он, кажется, не возражал, но мы туда так и не выбрались, хотя бывали во многих местах, посещение которых не входило в наши прямые обязанности, в том числе и в кафе поэтов — «Стойле пегаса».

Видимо, тогда, как и теперь, в сутках было ровно двадцать четыре часа. Но мы за эти двадцать четыре часа успевали все: допросить бандита и побеседовать с пострадавшими от налета, заштопать продранный китель и задержать валютчика, разобрать на оперативном совещании последнюю операцию и принять самое активное участие в общественном суде над Евгением Онегиным. Кстати, общественные литературные суды стали к тому времени повальным увлечением. На молодежных сборищах особенно доставалось Печорину, о котором Груздь говорил, что именно для таких типов революционный пролетариат отливает свинцовые пули на заводах. Мне, честно говоря, Печорин нравился, но я не рисковал, даже будучи официальным защитником, его оправдывать, а только робко просил суд учесть смягчающие его тяжелую вину обстоятельства. И только Нюся, устремив мечтательно глаза куда-то поверх наших голов, упрямо говорила: «А все-таки он был хороший».

По мнению Нюси, Тузик тоже был хорошим, хотя беспризорник, оправившийся, несмотря на мрачные прогнозы доктора Тушнова, уже через несколько дней, относился к ней более чем сдержанно. Нюся водила его в синематограф, в «Стойло пегаса», где порой вместо морковного чая подавали настоящий, но завоевать его любовь так и не смогла: кажется, Тузик был

прирожденным женоненавистником. Зато с Груздем он сошелся быстро. Они познакомились у меня, когда Тузик только стал вставать с постели.

— Здорово, шкет! — сказал Груздь, входя в комнату и с любопытством разглядывая маленькую фигурку с прозрачным лицом и всклокоченными волосами.

— Здорово, матрос! — в тон ему ответил беспризорник.

— Шустрый! — поразился Груздь. — Ты откуда такой?

— С Хитровки.

— Житель «вольного города Хивы»? Ясно. А кличут как?

— Тузиком.

— Гм, какая-то кличка собачья. У нас на корабле кобель Тузик был. Выдумает же буржуазия такое: Тузиком человека прозвать. Ты же крещеный?

— Все может быть, — согласился Тузик.

— Ну, родители-то как нарекли?

— Тимофеем.

— Тимоша, значит? Вот это другой коленкор. Ой, Тимоша-Тимофей, хочешь — жни, а хочешь — сей! Ну, Тимофей Иванович, на голове стоять умеешь?

Груздь снял пояс с двумя маузерами и, побряхтывая, стал на голову.

— Силен! — с уважением сказал Тузик. — А на одной руке стоять можешь?

— Запросто.

Груздь сделал стойку на одной руке.

— А колесом перекувырнуться сможешь?

Груздь сделал колесо.

— Силен! — снова сказал Тузик и с этого момента проникся к Груздю уважением, которое уже ничто не могло поколебать.

Когда Груздь доставал кисет, Тузик тотчас же чиркал зажигалкой. Когда Груздю что-нибудь было нужно, Тузик сломя голову кидался выполнять его поручение.

Оказалось, что у этого смешливого, независимого беспризорника душа романтика, жадная до всего необычного и красивого. Тузик мог часами слушать рассказы Груздя про далекие тропические страны, где курчавые черные люди ходят почти совсем голыми по раскаленному золотому песку и грузят на большие пароходы ящики с кофе и бананами, про раскидистые пальмы, колючие кактусы и экзотические деревья со звучным названием баобаб.

На вопросы Тузик был неистощим.

— А там революция тоже будет? — спрашивал он.

— Сам посуди, — обстоятельно объяснял Груздь, — пролетариат там есть? Есть. Мировая буржуазия есть? Есть. Эксплуатация есть? Есть. Материализм есть? Есть. Тогда об чем речь? А революция в России для них арифметический плюс, потому что вроде примера. Увидят, как мы распрекрасно живем без буржуев, и сами так же распрекрасно жить захотят...

— Ну уж распрекрасно! — говорил Тузик, — Жрать-то нечего.

— Тебе бы все жрать... А ты рассуждай диалектически: почему нечего жрать? Потому что разруха. Вот покончим с буржуазией и с ее прихвостнями — всякими

спекулянтами и бандитами — и возьмемся за ликвидацию разрухи. Уяснил?

Авторитет учителя был непререкаем. Только раз в душу Тузика закралось сомнение, когда Груздь заявил, что после мировой революции ни одного сыпнотифозного не останется: ни в Англии, ни в Бразилии, ни в России.

— В Англии может, а в России навряд.

— Это почему?

— А потому что сыпняк от вшей, — со знанием дела объяснил Тузик.

— Вот их и не будет.

Тузик подмигнул мне и неудержимо расхохотался:

— Загибай! — А когда Груздь разгорячился, примиряюще сказал: — Я же не говорю, что их миллионы будут, но тыща, чай, останется...

Зато насчет ликвидации преступных элементов у Тузика никаких сомнений не было.

— Вот это точно, — говорил он, — Мартынов и Савельев все могут! Их у нас во как боятся!

Тузик впитывал в себя все, как губка. Он охотно слушал рассуждения Груздя про гегемона революции и про жизнь на флоте, мнение Груздя о бесклассовом обществе и о роли интеллигенции в революции.

— У шкета классовое самосознание на самом что ни на есть недостижимом уровне! — восхищался Груздь. — Его бы грамоте научить — всех за пояс заткнет.

И Груздь раздобыл у гримера и костюмера уголовного розыска Леонида Исааковича (имелась у нас в те годы такая должность) букварь. Под руководством Нюси и Леонида Исааковича, худого старика с большими темными глазами, Тузик довольно скоро научился читать.

Жить у меня Тузик наотрез отказался, но заходил часто. Иногда забегал на несколько минут, а порой оставался на два-три дня.

Соседи относились к нему настороженно. Жена доктора, толстая неряшливая женщина с выпученными глазами, демонстративно закрывала на висячий замок свой шкафчик на кухне и просила мужа:

— Бобочка, ты посиди здесь на всякий случай, пока этот босяк не уйдет...

Меня это раздражало, но сам «босяк» не обращал на эти меры предосторожности никакого внимания и, хитро мне подмигивая, спрашивал: «Опять эта корова всю ночь серебряные ложки пересчитывала?»

— Мировецкое сало! — сказал как-то Тузик, покончив за несколько минут с моими недельными продовольственными запасами. — Буржуйская шамовка. Здорово живешь!

— Вот и переходил бы ко мне. Чего на Хитровке болтаться?

— Не, нельзя.

— Почему?

— Пришьют...

В его голосе была такая убежденность, что я вздрогнул. Что я, в конце концов, знал о жизни этого пацана? Только то, что он сирота, живет на Хитровке у Севостьяновой, которая приютила его то ли из жалости, то ли из каких-то своих соображений, что... Нет, пожалуй, я больше ничего не знал. А знать нужно было, хотя бы для того, чтобы помочь ему выбраться с Хитровки, расстаться с

уголовным миром.

«Надо будет с Груздем и Виктором посоветоваться», — подумал я и спросил: — Кто же тебя убьет?

— Паханы убьют.

— Какие паханы?

— Всякие, — неопределенно ответил Тузик. — Анна Кузьминична и так говорит, что я продался.

— Чудак, ты же с нами все время будешь. Они и подойти к тебе побоятся!

Тузик упрямо мотнул головой. Я так и не смог больше ничего от него добиться. А через несколько дней после этого разговора произошло событие, которое сразу же отодвинуло на десятый план и литературные суды, и взаимоотношения Сени Булаева с Нюсей, и нашу озабоченность судьбой Тузика...

* * *

В уголовном розыске по ночам всегда дежурила специальная группа — ответственный дежурный, инспектор, субинспектор, два агента и несколько красноармейцев из боевой дружины. Ответственным дежурным был в тот вечер Мартынов, но он не спал уже две ночи и поэтому, устроившись в прилегающей к дежурке комнате, наказал будить себя только в случае чрезвычайного происшествия. Заменял его Сухоруков, который числился инспектором. Помимо него дежурили я и Сеня Булаев.

На днях наш новый завхоз раздобыл грузовик великолепных сухих дров, и стоящая посередине комнаты «буржуйка» румянилась своими чугунными боками. Было не только тепло, но даже непривычно жарко. Сеня снял валенки и забрался на диван с ногами, а Виктор отстегнул ремни и стащил с себя френч.

— Вот так бы всю ночь, без происшествий! — мечтательно сказал Сеня. И не успел он договорить последних слов, как зазвонил телефон.

Виктор снял трубку:

— Ответственный дежурный по уголовному розыску инспектор Сухоруков. Что?.. — Голос его дрогнул. — Что?.. Говорите громче!.. Да, да!.. Не может быть!

Я видел, как обращенная ко мне щека Виктора побелела, и понял, что произошло что-то страшное. Виктор повесил трубку на рычаг и дал отбой.

— Час назад банда Якова Кошелькова напала на машину Ленина. Будите Мартынова. Сейчас подъедут автомобили из МЧК. — Он вытер тыльной стороной ладони мокрый лоб.

— Жив? — вскинулся Булаев. — Владимир Ильич жив?

— Не знаю. Об этом ничего не было сказано.

— Так почему же не спросил?

— Побоялся... — совсем по-детски признался Виктор, — Страшно было спрашивать...

Булаев выругался, подскочил к телефону, яростно начал крутить ручку.

— Барышня! — закричал он. — Соедините меня с дежурным по МЧК! Быстро, быстро!.. Паснов? У аппарата Булаев. Что с Владимиром Ильичей? Я не о том, это я уже знаю. Ранен? Нет?.. Вот это я и хотел знать. Сейчас выходим...

Жив! — крикнул Сеня, оборачиваясь к нам. — Ни одной царапины!

Когда мы вышли на крыльцо, во двор уголовного розыска уже въезжали два лимузина. В один из них с трудом втиснулись Мартынов, я и три красноармейца.

— Четыре месяца за Кошельковым охотимся, — сказал Мартынов. — И вот... Доигрались!

Да, страшно было подумать, что жизнь Ленина висела на волоске.

Ленин... Впервые я его увидел на первомайской демонстрации в 1918 году. Мы были втроем: Виктор, Груздь и я. Холодное пасмурное утро. Стройные ряды латышских стрелков, отряд из бывших военнопленных. Обнажив головы, проходят красноармейцы мимо могил павших за революцию к Спасским воротам. Над Красной площадью — одинокий аэроплан, белыми птицами кружат сбрасываемые с него листовки. Рядом с трибуной — автомобиль иностранного посланника; посланник не потрудился даже выйти из машины. К чему?

Но вот на площадь широким потоком хлынули люди. Знамена, транспаранты, лозунги: «Даешь мировую!», «Мир хижинам — война дворцам!». Суровые, истощенные лица улыбаются. Отцы и матери высоко поднимают ни руках детей.

— Ле-нин! Ле-нин! — гремит над площадью.

И кажется, что этот крик многотысячной толпы пугает посланника, он быстро, по-птичьи, начинает вертеть шеей. И вот уже его глаза обращены туда же, куда устремлены тысячи глаз демонстрантов. Он смотрит, не отрываясь, на Ленина...

— Да здравствует всемирная Советская республика! Смерть капиталистам! Молодой звонкий голос уверенно запекает:

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов!

Песню подхватывают. И грозно несется, вздымаясь к небу, знакомая мелодия.

— А я думал, что Ильич ростом повыше, — говорит Виктор.

— Мал золотник, да дорог! — отзывается Груздь. — Видал, какой лобастый?! Голова! Миллионы книг там вместились.

О том, что он видел Ленина, Груздь потом часто рассказывал Тузику.

— Такой человечиче раз в тысячу лет рождается, никак не чаще, — говорил он. — Все насквозь видит: где революционная ситуация, а где, наоборот, буржуи норовят подгадить. Ильич — это Ильич, нам, пролетариату, без него ну никак нельзя. Понял, шкет?

— А чего тут не понимать? Не сывка, чай. Конечно понял.

— То-то же! Накрепко запомни, что Ленин обо всех нас в общем мировом масштабе, и о тебе в частном мировом масштабе, ежели рассуждать диалектически, сердцем изболелся и на последний решительный бой с буржуями весь сознательный пролетариат ведет.

После одного из таких разговоров Тузик у меня попросил книжку про Ленина, но у меня ее не оказалось. Не знаю, была ли тогда вообще такая книжка. А сегодня Ленин мог погибнуть от руки бандита, того самого бандита, которого до сих пор не могла изловить наша группа...

О том, как именно произошло нападение на машину Ленина, я узнал много позднее. Как выяснилось, в тот вечер Владимир Ильич вместе со своей сестрой

Марией Ильиничной поехал в одну из лесных школ в Сокольниках, где находилась Надежда Константиновна Крупская. Их сопровождал только один охранник — Чебанов. За рулем сидел любимец Ленина Степан Казимирович Гиль. Недалеко от Каланчовской площади их окликнули. Не обращая внимания, Гиль продолжал ехать. Но когда стали подъезжать к Калининскому заводу, на середину дороги выскочило несколько человек с револьверами в руках.

— Стой!

Ленин, решив, что это милицейский патруль, наклонился к Гиллю:

— Остановитесь, Степан Казимирович.

Гиль затормозил. В ту же секунду неизвестные плотным кольцом окружили машину.

Ленин приоткрыл дверцу, спокойно спросил:

— В чем дело, товарищи? Вот пропуск.

— Молчать! — резко крикнул высокий и сутулый, с маузером в руке, и, держа, дуло оружия на уровне груди Ленина, распорядился: — Обыскать!

— Какое право вы имеете обыскивать? — возмутилась Мария Ильинична. — Предъявите ваши мандаты!

— Уголовным мандатов не надо, у них на все права есть! — усмехнулся сутулый.

Сопrotивляться было уже поздно. Теперь малейшая попытка к сопротивлению могла кончиться трагически — смертью Ильича.

Бандиты забрали документы и оружие, влезли в автомобиль. Кто-то из них передернул затвор винтовки.

— Брось, ни к чему...

Взревел мотор — и машина мгновенно исчезла в пелене снега.

Нападение произошло недалеко от здания районного Совдепа, откуда Ленин и позвонил в ВЧК Петерсу. Никто из бандитов не знал, что ограбленный — Председатель Совета Народных Комиссаров. Это обстоятельство и спасло Ленину жизнь... В дальнейшем один из бандитов, некий Клинкин, по прозвищу Ефимыч, шофер Кошелькова, на допросе показал, что после ограбления Кошельков уже в машине начал просматривать отобранные документы.

— Вдруг слышу, — говорил Клинкин, — орет: «Останови автомобиль! Гони назад!» — «Почему?» — «Да потому, — отвечает, — что то был сам Ленин... Кто на нас подумает? На политических подумают... Дело-то какое, раз в сто лет пофартит так-то...»

Клинкин развернул машину — поехали назад. Но заваленная снегом дорога была пустынна... Кошельков и его ближайший подручный Сережка Барин выскочили из автомобиля. Проваливаясь по колено в глубокий снег, выбрались, в переулок.

Кошельков заглянул в раскрытые ворота одноэтажного домика, в окнах которого мерцал огонек:

— Может, сюда завернули?

— Нет. Не видишь разве, какой сугроб у крыльца намело?

Побродив минут десять по безлюдному переулку, ругаясь, вернулись к автомобилю.

Обо всем этом мы с Мартыновым тогда не знали. Нам было лишь известно, что Кошельков напал на Владимира Ильича и как выглядит разыскиваемая автомашина.

* * *

Москва была разбита на десять участков, для каждого из них выделили патрульную машину. Часть машин принадлежала ВЧК, остальные были взяты в различных учреждениях.

Ехали мы почти вслепую: зима была снежная, вьюжная. Ветер швырял в ветровое стекло пригоршни снега, фигуру человека можно было различить не дальше чем за пять метров. Кругом только сугробы снега. На Петровке мы влетели в какую-то яму. Пришлось выйти из автомашины и вытаскивать ее. Один из красноармейцев рассек при толчке бровь. Он приложил ко лбу пригоршню снега, который сразу же стал розовым. У гостиницы «Националь», первого Дома Советов, нас остановил патруль. Затем опять остановка — на Якиманке. Пожилой бородатый красноармеец из боевой дружины уголовного розыска знал Мартынова в лицо, поэтому документов не потребовал. От него мы узнали, что в Сокольниках убито два милиционера, а у Мясницких ворот поставой ранен. Машина с бандитами не задержана.

— Раненого опрашивали? — спросил Мартынов.

— Говорит, с машины стреляли. Подъехала машина, кто-то с нее свистнул в милицейский свисток. Думал, начальство. Подошел, натурально, доложил, а те стрелять... В трех местах пораненный...

Это, конечно, работа Кошелькова. Я до боли в глазах вглядывался в белую мглу, чувствуя, как от напряжения по щекам катятся слезы. Внезапно мне показалось, что впереди в свете фар мелькнуло что-то темное и расплывчатое. Машина? Нет... А может быть, все-таки машина? Точно, машина.

— Мефодий Николаевич, автомобиль!

— Вижу, — почти не разжимая губ, сказал Мартынов. — Приготовьтесь!

Сидящий рядом со мной красноармеец, держа в одной руке винтовку, вылез на подножку. Его примеру последовал другой. В машину ворвались ветер и снег. Я не вижу, но чувствую, как Мартынов достает из кобуры наган.

— Заезжай сбоку, — наклонился он к шоферу, — слева, жми его к домам.

Но когда мы почти настигаем мчащуюся впереди нас машину, шофер опознает ее.

— Из МЧК, — говорит он и сворачивает направо.

И вот наконец возле Крымского моста мы наталкиваемся на автомашину Владимира Ильича. Она стоит у обочины дороги, в ней никого нет, дверцы распахнуты, горящие фары освещают два трупа, лежащих недалеко от передних колес. Я обращаю внимание на пулевые отверстия в ветровом стекле, от них лучами разбегаются в разные стороны трещинки. На спинке переднего сиденья заледеневшие следы крови: кто-то из бандитов ранен. Подхожу к убитым — это молоденький красноармеец и милиционер в островерхой шапке с красной матерчатой звездой. Красноармеец сжимает мертвыми руками винтовку. Стрелял,

видимо, он, милиционер нагана достать не успел.

— Ишь как держит! — говорит один из красноармейцев, приехавших с нами, пытаюсь разжать пальцы убитого. — И после смерти свое оружие отдавать не хочет!

— Не надо! — машет рукой Мартынов. — Оставь!..

Он медленно стаскивает с головы ушанку. Мы следуем его примеру. Несколько минут стоим молча, Потом Мартынов проводит ладонью по покрытым снегом волосам, надевает шапку.

— Проверь, машина может своим ходом пойти? — обращается он к шоферу и приказывает красноармейцам перенести убитых в машину.

— Мефодий Николаевич, может, поищем? Не могли они далеко уйти, тем более ранен у них кто-то.

— Попробуем.

Подъехал грузовик с красноармейцами. Разбившись на небольшие группы по два-три человека, мы тщательно прочесали все близлежащие улицы и переулки. Безрезультатно.

* * *

Через несколько дней после нападения на Ленина в «Известиях» были опубликованы обращение Московского Совета к населению и приказ начальника Московского окружного комиссариата по военным делам.

«С обнаглевшими бандами начата решительная борьба, в которой население должно содействовать органам Советской власти, — говорилось в обращении. — Бандитизм, нарушающий нормальное течение жизни Москвы, будет твердой рукой искоренен как явление, дезорганизирующее и играющее на руку контрреволюции».

А приказ комиссариата заканчивался словами:

«Всем военным властям и учреждениям народной милиции в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать всех уличенных и захваченных на месте преступления, виновных в производстве грабежа и насилий».

Этим двум документам предшествовало совещание ВЧК, МЧК, Московского уголовного розыска и административного отдела Московского Совета, созванное заместителем председателя ВЧК Петерсом по поручению Дзержинского.

— В наше распоряжение переданы дополнительные средства, транспорт, оружие, — говорил на ночной оперативке Мартынов. — Теперь дело за нами. Сегодня утром ко мне приходила делегация с завода Гужона. Рабочие, возмущенные нападением бандитов на вождя, хотят нам помочь. Мы благодарны им и воспользуемся их помощью. Сейчас мы будем проводить массовую проверку гостиниц и частных квартир, в которых могут найти приют преступники. К этому следует привлекать рабочих. В отличие от царской полиции мы работаем для народа, а следовательно, всегда найдем у него поддержку, только надо научиться ею пользоваться.

Я никогда не подозревал, что в Москве столько гостиниц: «Люкс», «Гренада»,

«Догмара», «Бельгия», «Астория», «Утеха», «Брюссель», «Париж», «Гамбург» и даже «Приют ловеласа».

Каждую гостиницу, в зависимости от ее размера, обследовала группа, состоявшая из одного сотрудника уголовного розыска и восьми — пятнадцати вооруженных рабочих.

Проверки большей частью проводились ночью. Мы перекрывали все выходы, знакомились с книгой регистрации, а затем начиналось путешествие по номерам. Кого тут только не было! Актеры провинциальных театров, валютчики, представители богемы, мелкие и крупные спекулянты, темные личности с иностранными паспортами, вызывавшими серьезные сомнения в их подлинности, томные дамы в платьях из портьер и с фальшивыми бриллиантами.

Проверки обычно проходили бесшумно, если не считать истерик излишне впечатлительных дам и горячих протестов постояльцев, не совсем уверенных в безупречности своей биографии. Но было и несколько случаев вооруженного сопротивления. В «Приюте ловеласа» мне чуть не прострелил голову маленький, поросший, как обезьяна, бурым мехом гражданин, который по паспорту числился, если не ошибаюсь, бароном Гревсом, подданным Перу. На допросе барон заговорил почему-то с одесским акцентом. После этого его угрозы нотой протеста правительства Перу ни на кого уже не производили впечатления. А еще через полчаса он мирно беседовал с Савельевым и стыдливо шмыгал носом, когда тот укоризненно ему говорил:

— И не стыдно Одессу позорить? Ведь теперь вся Пересыпь смеяться будет. Где твоя фантазия? Перу! Ты хоть знаешь, где Перу находится?

— В Китае? — с надеждой спрашивал «барон Гревс».

— Ах, Леня, Леня! Чтобы взламывать сейфы, география не требуется, но чтобы подделывать паспорта, нужно с ней познакомиться по крайней мере в пределах гимназического курса.

В результате обследования гостиниц было задержано свыше двухсот человек, среди них 65 крупных рецидивистов. Савельев опознал нескольких уголовников, близких к шайке Кошелькова, — Гришку Кобылью Голову, Заводного и Лешку Картавого. Допросы дали многое. Прежде всего, мы узнали адрес невесты Кошелькова Ольги Федоровой и установили за ней наблюдение. А затем Виктор Сухоруков, работавший с Лешкой Картавым, показал мне протокол допроса. Картавый утверждал, что за последнее время дважды видел Кошелькова на Хитровом рынке у нашей старой знакомой Анны Кузьминичны Севостьяновой. Первый раз Кошельков был там с Сережкой Бариним и Ефимычем, а во второй — со своей невестой. Так подтвердились наши подозрения о связи Севостьяновой с Кошельковым.

В «нумерах» Севостьяновой был произведен обыск, и на письменный стол Мартынова лег клочок бумаги:

«Смотался в Вязьму, буду в «Хиве» в следующем месяце. Сообщи Ольге».

Подписи под запиской не было, но Федор Алексеевич Савельев хорошо знал почерк Кошелькова...

В тот же день в Вязьму выехала оперативная группа во главе с Савельевым. Первые дни сотрудникам розыска никак не удавалось напасть на след Кошелькова.

Бандит словно сквозь землю провалился. Савельев даже высказывал предположение, что Кошельков в Москве, а его записка предназначалась только для отвода глаз. Вскоре, однако, выяснилось, что Кошельков все-таки в Вязьме. Удалось даже выяснить, с кем он встречается. Это была бывшая «хитрованская принцесса» Натка Сибирячка. Кошельков должен был посетить Натку вечером в субботу. К его встрече подготовились, но он не пришел. Не появился он и на следующий день, и в понедельник. Тогда арестовали Натку. Она все начисто отрицала. Кошелькова, дескать, она действительно знает, но никаких отношений с ним не поддерживала и не поддерживает. И чего ей только жить не дают спокойно?! Кому она мешает? Что от нее, несчастной, хотят? Она такого беззакония не потерпит и будет писать жалобу самому Дзержинскому.

Пришлось Натку выпустить. А на следующий день были убиты купец Бондарев и его приживалка Кислюкова. В квартире ничего тронуту не было. Только на кухне, под мусорным ведром, сорвано две половицы, под которыми зиял провал — там находился тайник, до него-то и добирались убийцы.

— Работа Кошелькова, его почерк, — заключил Савельев, тотчас приехавший на место происшествия. — Для того и Вязьму навестил, а наводчицей была Натка.

Действительно, дальнейшее расследование показало, что Натка часто бывала у Кислюковой, засиживаясь допоздна, гадала ей на картах. При вторичном обыске у нее обнаружили несколько золотых вещей, которые опознала дальняя родственница Бондарева, жившая во дворе во флигеле. Она же описала мужчину, который на рассвете выходил из дома Бондарева с узелком в руках. Вне всякого сомнения, этим мужчиной был Кошельков.

На этот раз Натка уже не запиралась и рассказала обо всем. Узнав от Кислюковой, что старик хранит золото, она послала письмо Кошелькову, который вскоре и приехал в Вязьму. Кошельков хотел «обтяпать это дельце», забрать свою невесту и уехать на юг. «А то в Москве мне теперь хана», — сказал он. Разрабатывая план ограбления, Кошельков бывал у нее ежедневно. Но потом сказал, что за ним из Москвы «прихрюли легавые». После этого разговора Кошелькова она больше не видела, а золотые вещи, долю в деле, ей передал барыга по кличке Шелудивый.

К тому времени Вяземская ЧК по просьбе Савельева установила круглосуточное наблюдение за вокзалом и перекрыла дороги, ведущие в город. Одновременно в Вязьме было проведено несколько массовых облав, которые никаких результатов не дали. И вдруг совершенно неожиданно Савельев наткнулся на бандита в трактире Кухмистрова. Кошельков спокойно сидел за столиком и о чем-то разговаривал с опилочником Ахмедом.

Увидев Савельева, он дважды выстрелил. Одна пуля оцарапала Савельеву плечо, вторая застряла в левом легком. Савельев упал, а Кошельков, выбив плечом оконную раму, выскочил на улицу. Он бы наверняка ушел, если бы не наткнулся на группу красноармейцев, которые как раз проходили мимо трактира. На него навалились, обезоружили, скрутили руки и доставили в ЧК.

В тот же день Кошелькова в сопровождении Булаева (Сухоруков остался при раненом Савельеве) и конвоя Вяземской ЧК отправили в Москву. Два молоденьких красноармейца, опасаясь побега, не спускали с него глаз. Но

Кошельков вея себя настолько спокойно, что решили даже развязать ему руки. В Москву прибыли без всяких происшествий. На перроне к Булаеву подошла молодая женщина, закутанная в серый платок, и попросила разрешение передать арестованному буханку хлеба. Булаев не возражал. Ему не могло прийти в голову, что в буханке браунинг, а стоящий недалеко от водогрейни чубатый парень — подручный Кошелькова Сережка Барин...

В следующее мгновение загрели выстрелы. Один из красноармейцев был убит наповал, а другой умер, не приходя в сознание. Булаев, в которого Кошельков выстрелил в упор, а затем сбил с ног ударом в подбородок, отделался легко — несколько царапин и надорванное пулей ухо.

Так закончилась вяземская операция, за которую Булаев неделю находился под арестом, а Мартынов получил выговор в приказе.

* * *

— Вам письмо, гражданин Белецкий! — сказала жена доктора, когда я забежал вечером переодеться. (После того как я завязал дружбу с Тузиком, Тушновы разговаривали со мной сугубо официально.)

«Наверно, от сестры», — подумал я, взяв серый конверт. Но мадам Тушнова, кривя губы, объяснила:

— От вашего приятеля, босяка с Хитровки.

— Спасибо, — поблагодарил я, направляясь к себе.

Но жена доктора меня окликнула:

— Минуточку, гражданин Белецкий!

— Да?

Хотя в цветастом капоте, с торчащими из-под ночного чепца бумажными папильотками трудно было изобразить богиню мщения, мадам Тушнова воплощала Немезиду.

— Нам не нравятся ваши подозрительные знакомства, гражданин Белецкий.

— Вот это меня меньше всего интересует.

— Естественно. Вас интересует лишь ваш юный приятель с Хитровки, — как это в вашей среде выражаются? — ваш малолетний кореш. Так вот, убедительно прошу сюда его больше не приводить. Мы не хотим быть обворованными. И еще вас прошу не являться домой позже шести часов вечера. После шести можете ночевать на Хитровке. Никто двери вам после шести вечера открывать не будет.

— Только попробуйте!

— Да, не будет, хоть стреляйте!

— А вот начну стрелять, тогда посмотрим! — пообещал я, уже не в силах сдерживать нарастающее раздражение.

Эффект от сказанного превзошел всякие ожидания: мадам Тушнова побелела — ее щеки приобрели цвет бумажных папильоток.

— Выродок! Бандит! Хулиган! — взвизгнула она, скрываясь в своей комнате. Из-за двери до меня донеслись громкие рыдания и истерические выкрики: — Бобочка! Этот негодяй нас убьет! Он приведет сюда хитрованцев!

Я вошел к себе в комнату и демонстративно громко щелкнул задвижкой.

С чего Тузик решил затеять со мной переписку? Со времени нападения на Ленина мальчишка ко мне не заходил. Совсем от рук отбился. Уж если Груздь взял над ним шефство, то пусть по-настоящему займется пацаном, а то болтается неизвестно где, дружит неизвестно с кем. Да и мы с Сухоруковым тоже хороши. Недаром говорят, что у семи нянек дитя без глазу.

Надорвав конверт, я достал тщательно сложенную записку. На пористой серой бумаге, видимо оберточной, химическим карандашом было нацарапано:

«Саша! Есть об чем поговорить. Очин важное дело! Приходи в «Стойло Пегаса». Тузик».

Что у Тузика за «очин важные дела»? В конце концов, мог бы подождать меня в подъезде, если мадам Тушнова отказалась его впустить в квартиру.

«Стойло Пегаса» находилось на Тверской, а в моем распоряжении было всего полчаса. Мне предстояло принять участие в исключительно важной ночной операции. После побега Кошелькова были немедленно арестованы его невеста, которая передала бандиту пресловутую буханку хлеба, и Севостьянова. На допросе Ольга Федорова, между прочим, показала, что Кошельков бывал на даче у родственников Клинкина (Ефимыча). Один раз она ездила вместе с ним и запомнила расположение дачи. Про эту дачу слыхала и Севостьянова, которая утверждала, что Кошельков часто хранил там награбленное. Поэтому дача была взята под наблюдение. Сотрудники, которым это поручили, ежедневно информировали Мартынова, что ничего подозрительного они не замечают. Мартынов уже хотел было снять оттуда людей, когда Конек, задержанный в подпольном карточном притоне, сказал, что Кошельков намеревается скрыться из Москвы и договорился встретиться с Клинкиным на какой-то даче, куда он свозил награбленное. Что это за дача и где она находится, Конек не знал, но об этом теперь было нетрудно догадаться.

Да, ничего не поделаешь, придется Тузику отложить свое «очин важное дело» до следующего раза. Предположить, что следующего раза не будет, я, разумеется, не мог...

* * *

В грузовой автомашине уместилось человек двадцать. Все в кузове сидели, тесно прижавшись друг к другу — было холодно. Скрываясь от ветра, я так согнулся, что касался подбородком колен.

— Что скрючился?! — закричал мне в ухо Мартынов. — Тебе бы вагоновожатым поработать: каждый божий день на холоде десять часов, а кто и все двадцать, две смены трубит — на восемнадцать рубликов с семьей не протянешь. Две смены в графике у нас крестом отмечали. Вот мы промеж себя и шутили, что зарабатываем крест на Ваганьковском...

Не доезжая версты две до дачи, недалеко от линии Балтийской железной дороги, мы вылезли из кузова. Мартынов отозвал в сторону одного из оперативных сотрудников и, показав ему на чертеже расположение дачи, что-то сказал. Тот кивнул и с группой рабочих направился по дороге куда-то влево, видимо в обход. Остальные, за исключением двоих, оставшихся в машине, по

одному и по двое пошли к даче по обеим сторонам узкой улочки. Моим напарником был Мартынов. Впереди нас на этой же стороне, метрах в десяти — пятнадцати, маячила спина Виктора Сухорукова. Несколько раз мы сворачивали, и я подумал, что один я бы ни по какому плану этой проклятой дачи никогда не нашел. Внезапно Виктор исчез, словно сквозь землю провалился.

— Пришли, — сказал Мартынов и мотнул подбородком в сторону одноэтажного домика за низкой изгородью.

Домик находился в глубине двора. Его окружали заснеженные деревья.

— Подожди, — остановил меня Мартынов, когда я начал искать на ощупь щеколду калитки.

Некоторое время мы молча стояли, прислонившись к калитке. Потом кто-то дважды свистнул. Только тут я заметил Виктора: он стоял во дворе, почти слившись со стволом старого развесистого дерева. После свистка он поднял руку; махнул рукой и другой сотрудник, стоявший по другую сторону тропинки. Его я тоже только сейчас увидел. Вся дача была окружена...

По узкой дорожке, протоптанной в глубоком снегу, мы прошли через оцепление к крыльцу. Мартынов постучал в дверь, и она тотчас распахнулась, будто нас уже ждали. На пороге стоял старик в ватнике, маленький, длинноносый, щуплый. Не говоря ни слова, он пропустил нас в сени. Здесь было темно. Мартынов зажег зажигалку, и мы через кухню прошли в небольшую комнату, где над овальным столиком висела керосиновая лампа под цветным стеклянным абажуром. За столиком сидела старуха и раскладывала пасьянс.

— Вечер добрый, бабушка! — весело сказал Мартынов. — Как желания, сбудутся?

Не поворачивая склоненной над картами головы, старуха ворчливо сказала:

— Наследили, ноги лень вытереть...

— Чего там, — вступился старик, — гости издалече...

Мартынов скинул шубу и шапку:

— Шурка не приходил?

— Запоздывает чтой-то... А вы от него?

— Нет, папаша, из уголовного розыска.:

— Вон оно что!

— Не тех гостей ждали?

— А нам все едино, — не поворачивая головы в нашу сторону, ответила старуха. — Мы люди маленькие.

— Маленькие-то маленькие, а бандитскую добычу храните.

— Это как же храним? — забеспокоился старик. — Слышишь, Надежда Федоровна, что товарищи сказывают? Мы, дорогие, граждане-товарищи, ничего не храним. Чего нам хранить? Привезет Шурка: «Пусть полежит у тебя, тещушка!» Пусть полежит — не корова, корма не требует. А что и откуда — нам знать не дано; честно или не честно добыто — нам неведомо. И глядеть не будем, не любопытно нам.

— А нам любопытно, — прервал Мартынов старика.

Бандиты свезли на дачу многое: меховые ротонды, мерлушковые пальто, бровые воротники. В наволочке хранились романовские золотые и серебряные

деньги, серьги, кольца.

— Хоть магазин открывай! — ухмыльнулся Мартынов, небрежно толкая ногой развязанные тюки. — Нелюбопытный все-таки ты, папаша!

Ефимыча привели через час. Руки у него были связаны. С рассеченной губы лениво скатывалась на грудь алая струйка крови, в густых курчавых волосах — снег, франтоватый романовский полушубок разорван в нескольких местах.

Я с любопытством разглядывал шофера Кошелькова. Ему было лет тридцать пять — сорок. Тяжелая, отвисшая челюсть, угловатое лицо с нечистой кожей.

— У калитки взяли.

— Один был?

— Один. Мартынов встал:

— Когда Кошельков будет?

— Сперва руки прикажи развязать, — попросил Клинкин, — ремни режут.

— Только чтоб тихо, — предупредил Мартынов, — не буйствовать.

— Чего ж буйствовать, когда вся хибара окружена, — рассудительно ответил Клинкин, отирая о плечо кровь с подбородка. — Видать, отгулял...

— Отгулял, Ефимыч, — согласился Мартынов. — Ваше дело такое: сегодня — гуляешь, а завтра — в расход. Бандитское дело, одним словом. Так когда Яков будет?

— Не придет Яков Павлович.

— Почему?

— Потому как не дурак Яков Павлович, не мне чета. После того как Ольгу да Анну Кузьминичну замели, упреждал: «Не сегодня-завтра легавые засаду на даче поставят. Не суйся туда, Ефимыч, пропади пропадом барахло это!» Не послушался, думал, успею...

* * *

Все участники нападения на Ленина, за исключением Кошелькова и Сережки Барина, уже были арестованы. Эти двое по-прежнему оставались на свободе. Им везло. Тем не менее дни их были сочтены. Это понимали и работники уголовного розыска, и сами бандиты. Кошельков нервничал. В его налетах не было прежней дерзости, расчетливой уверенности.

— Психует Яков Павлович, — говорил мне на допросе Клинкин. — Намедни чуток Сережку не порешил. «Ты, — говорит, — сыскарям, гад, заложить меня хотишь! Все вы, — говорит, — сыскарям мою голову принести заместо подарка желаете...»

Больше всего Мартынов опасался, что Кошельков уедет из Москвы. Но он по-прежнему оставался в городе. Это мы знали точно. И наконец наступил день, которого мы так долго ждали...

Сеня Булаев, Груздь, Савельев и я сидели на какой-то промасленной, вонючей ветоши в маленьком сыром сарайчике. За зиму хозяева разобрали его почти наполовину, использовав на дрова все доски, которые еще не совсем сгнили. Сквозь широкие проемы в трухлявой крыше чернело небо, скупо присыпанное белесыми звездами. Курить Мартынов запретил, но мы все-таки курили.

Отползали по одному к задней стенке сарая и, накрывшись с головой, курили, с трудом удерживая в онемевших пальцах плохо скрученные козьи ножки. Иногда Савельев, еще не оправившийся после ранения, тихо кашлял в плотно прижатый ко рту платок, и тогда Груздь укоризненно качал головой.

Слева, в домике с облезшими зелеными ставнями, притаились Мартынов и Сухоруков. Напротив, на другой стороне переулка, в нижнем этаже двухэтажного особняка, бандитов ждали еще четверо сотрудников. Откуда Мартынову стало известно, что Кошельков и Сережка Барин будут сегодня ночью в этом домике с зелеными ставнями, никто из нас не знал.

Под утро ветошь покрылась толстым слоем инея. Савельев кашлял все чаще и чаще. Я засунул окоченевшие руки под рубашку и сразу же почувствовал, как все тело покрылось гусиной кожей. Ноги занемели, я мне казалось, что я не смогу встать. Сеня Булаев, навалив на себя тряпье, свернулся клубком. Сипло дышал Савельев, поджав под себя ноги и нахолившись. Вдруг предрассветную тишину разорвал дикий пронзительный крик:

«А-яу-у-у!»

Мы мгновенно вскочили, но Груздь сделал рукой успокаивающий жест. Сквозь широкую щель между досками я увидел, как откуда-то сверху во двор спрыгнул кот. На мусорном ящике грязно-белая кошка дугой выгнула спину.

Вновь звучит призывное:

«Я-ау-у!»

Чувствую, как кто-то до боли сжал кисть моей руки. Это Груздь. Мускулы его круглого лица напряжены.

По двору осторожно идут двое. Впереди Сережка Барин, за ним на расстоянии нескольких шагов — Яков Кошельков. Я его сразу узнал, хотя раньше ни разу не видел.

«Яа-ау-у!»

Кошельков хватается за маузер. Ага, значит, тоже нервы пошаливают!

— Брысь! — машет рукой Сережка Барин.

Но кот неподвижен, только вздрагивает кончик вытянутого в прямую линию хвоста.

Чувствую за своей спиной сиплое дыхание Савельева, рядом с ним Сеня — в его полусогнутой руке поблескивает никелем браунинг.

Сережка подошел к крайнему от нас окну, легонько три раза постучал в ставню. Немного, переждал — и еще два раза. Потом закурил папироску. Видимо, ждет ответного сигнала. А что, если сигнала не будет? Нет, Мартынов все знает и все предусмотрел. До нас едва слышно доносится стук. Раз-два, раз-два. Это кто-то внутри домика стучит по оконной раме. Так, все в порядке.

— Пошли, — кивает Сережка Кошелькову.

Но тот не торопится. Не снимая руки с коробки маузера, он озирается по сторонам. Неужто заподозрил что-то неладное?

Сережка поднимается на крыльцо. Бренчит снимаемая цепочка, щелкают отпираемые запоры. Кошельков не двигается с места. Стоит, как изваяние, длинный, сутулый, широко расставив ноги в высоких хромовых сапогах.

Дверь приоткрылась. Барин взялся рукой за дверную скобу, подался вперед и

тут же отскочил:

— Шухер!

Мы выскочили из сарая. С крыльца домика скатывается Сухоруков, за ним — Мартынов.

Вижу, как Сережка в упор стреляет в Мартынова. Одновременно кто-то стреляет в него. Сережка падает под ноги бегущим, о него спотыкается Сухоруков и тоже падает.

Кошельков, согнувшись, бежит к воротам, делая заячьи петли.

— Стой!

Кошельков не оборачивается. В него не стреляют, хотят взять живым.

— Стой, гад! — кричит Груздь, топая сапожищами.

Внезапно бандит остановился: он увидел у ворот группу работников розыска.

— Бросай оружие!

Кошельков отпрыгнул в сторону и, вертя маузером, начал стрелять. Он вертелся на одном месте, как волчок, по-звериному оскалив зубы.

«Р-р-ах... Р-р-ах!» — зачастили выстрелы.

Вытянув перед собой руку с браунингом, я нажал на спусковой крючок. Выстрелов не услышал, только почувствовал, что браунинг задержался в моей ладони, как живой. Кошельков начал медленно оседать. Потом попытался подняться и упал на спину. С его головы слетела круглая шапка и покатила по земле.

Первым к Кошелькову подбежал Груздь, потом не спеша подошел Мартынов. У него правая щека залита кровью: пуля Сережки Барина содрала у виска кожу. Кроме него ранены еще двое — один из них, семнадцатилетний паренек, только вчера принятый на работу в розыск, тяжело. Он полусидит на верхней ступеньке крыльца и тихо стонет, прижимая руки к животу.

Савельев, держа в одной руке револьвер, другой мелко крестится, Это смешно, но никто не улыбается. Мы с Виктором подходим к Сережке Барину. Он мертв. Пуля, выбив передний зуб, вошла в рот и вышла через затылок.

Наконец появился врач, маленький, толстый, с заспанными глазами. Он осмотрел раненного в живот паренька и приказал отправить его в больницу, затем сделал перевязку Мартынову и осмотрел Кошелькова.

— Выживет? — спросил я.

— Этот? — Врач через плечо, не поворачиваясь, ткнул пальцем в сторону Кошелькова, над которым стоял фотограф с треножником. — Что вы, мой милый?! Удивляюсь, что до сих пор жив.

Надо было перенести Кошелькова в пролетку. Он оказался неожиданно тяжелым. Мы вчетвером еле его подняли. На губах Кошелькова пузырилась кровавая пена, глаза закрыты, он сипло дышал. Как говорил Мартынов Клинкину? «Ваше дело такое: сегодня — гуляешь, а завтра — в расход. Бандитское дело, одним словом».

Когда мы внесли Кошелькова в дежурку, он был еще жив. Я протелефонировал дежурному по МЧК о ликвидации банды Кошелькова и, дождавшись приезда Мартынова, отправился за ордером, который наш завхоз выписал мне накануне. Я давно мечтал по-настоящему одеть Тузика, по-прежнему ходившего оборванцем.

Кладовщик уже знал о событиях этой ночи и был менее прижимист, чем обычно. Он мне выдал совершенно новый картуз, сапоги, галифе и несколько косовороток.

Разложив все это бесценное имущество у себя дома на кровати, я начал прикидывать, подойдет ли оно Тузику.

Вскоре приехал Виктор.

— Как там Кошельков? — спросил я, продолжая рассматривать обновки.

— Умер. Часа три, как умер.

Голос у Сухорукова был какой-то странный, напряженный. Что ж, такая ночь не могла пройти бесследно.

— Вымотался?

— Да, — подтвердил он и спросил: — Что это у тебя?

— Для Тузика.

— Понятно.

— Галифе не великоваты?

Виктор взял в руки галифе, повертел их, помял и бросил на кровать.

— Подойдут?

Сухоруков стоял у окна и смотрел во двор.

— Нет больше Тузика, Саша. — Я не понял, — Убили его. Участковый с Хитровки телефонировал. Кто-то из недобитых дружков Кошелькова задушил...

Я для чего-то сложил по выутюженным складкам галифе, завернул их в бумагу. Косоворотки остались лежать на кровати. Видимо, их тоже надо положить, Я вновь развернул сверток, положил косоворотки, запаковал, аккуратно перетянул крест-накрест шпагатом.

Виктор подошел ко мне, обнял:

— Не надо, Саша.

Так меня обнимала в день смерти отца Вера и так же говорила: «Не надо, Саша». А почему, собственно, не надо? Почему человек должен сдерживать слезы, если ему хочется плакать?

Только после смерти Тузика я узнал о той роли, которую он сыграл в ликвидации банды Кошелькова.

Севостьяновой для выполнения различных деликатных поручений нужен был мальчишка, и она приютила смышленного беспризорника, которого не раз использовала для связи с Кошельковым. Дружба Тузика со мной, Виктором и Груздем насторожила содержательницу притона. Но, убедившись, что Тузик не продает, она успокоилась, хотя и опасалась теперь давать ему ответственные поручения.

Юный житель «вольного города Хивы» хорошо знал неписанные законы Хитровки, карающие измену смертью, и держал язык за зубами. Держал до тех пор, пока банда Кошелькова не напала на Ленина... Тогда Тузик принял решение и написал мне записку. А когда я не пришел в «Стойло Пегаса», он отправился к Мартынову.

О доме в Даевом переулке знали немногие, а о том, что там будут Кошельков и Барин, — только Тузик, потому что именно ему поручил Кошельков проверить, нет ли за домом наблюдения. Севостьянова уже была арестована, и некому было

предупредить Кошелькова, что Тузику доверять больше нельзя...

Обо всем этом мне рассказал Виктор. А потом за нами зашел Груздь, и мы пошли к живущему недалеко от меня гримеру уголовного розыска Леониду Исааковичу. Там нас уже ждали Сеня Булаев и Нюся. Матрос принес спирт. И мы его пили. Пили все: Леонид Исаакович, Виктор, Сеня, я и Нюся. Это были поминки по Тузику.

Когда мы расходились, Леонид Исаакович пошел меня провожать.

— Я хотел бы вам сказать несколько слов, Саша. — Старик поднял на меня свои бледно-голубые глаза. — Я не всегда был одинок, Саша. У меня был сын. И в пятнадцатом году мой сын хотел бежать на фронт. Я ему тогда сказал: «Война — дело мужчин, а не детей». И он меня послушался. А в семнадцатом, когда из Кремля выбивали юнкеров, я ему так не говорил. И мой сын взял винтовку и ушел. Он погиб во время перестрелки. И теперь я совсем одинок. Но я знаю, что сделал честно, не повторив тех слов. В тысяча девятьсот семнадцатом году это были бы лживые слова. Революция — дело и детей, и женщин, потому что она для всех, кто недоедал. Мне тяжело, Саша, но зато я не обманул своего мальчика, и я знаю, что перед смертью он думал: «Да, мой отец честный человек». А теперь спокойной ночи, Саша. Пусть у вас все ночи будут спокойными...

Он резко повернулся и зашагал по улице, выставив, как слепой, перед собой трость, нескладный, в сдвинутом набок стареньком котелке.

* * *

Хоронили Тузика на Немецком кладбище. Стоял погожий весенний день. Ночью прошел сильный дождь, и на мостовой кое-где поблескивали еще не высохшие лужи. Гроб, реквизированный в какой-то конторе похоронных принадлежностей, был непомерно большим, и щуплое, маленькое тело едва виднелось среди красных лент. Мертвым Тузик выглядел взрослее, ему теперь можно было дать лет семнадцать. В похоронах участвовала почти вся особая группа. Пришли и заплаканная Нюся, и Леонид Исаакович, торжественный, в своем неизменном котелке.

Помню плотно сжатые губы Булаева, искаженное судорогой боли лицо Груздя, опущенные глаза Виктора. Почти дословно помню краткую речь Мартынова:

— Это смерть за революцию, за очищение республики от скверны бандитизма, за коммунизм. Тузик не увидит то, за что он боролся, но зато это увидят миллионы его сверстников...

Гроб опустили в яму я и Сеня Булаев. После того как могилу забросали сырыми глинистыми комьями, Груздь старательно прикрепил дощечку, на которой печатными буквами было тщательно выведено:

«Тимофей, по прозвищу Тузик (отчество и фамилия неизвестны). Героически погиб в борьбе на внутреннем фронте 21 апреля 1919 года».

Много лет спустя я пытался найти эту могилу среди холмиков, на которых нет ни мраморных надгробий, ни памятников, ни плит, но это оказалось невозможным. Установить фамилию Тузика также не удалось: иначе как Тузик его никто не называл.

Но разве юный житель «вольного города Хивы» исчез бесследно? Нет, он пережил свою смерть. У меня растут три внука. А в Московском архиве находится на вечном хранении докладная записка начальника розыска председателю МЧК. В ней говорится:

«В начале прошлого года в Москве организовалась опасная и смелая шайка бандитов под предводительством Якова Кузнецова, он же Кошельков, — сына известного своими разбойными нападениями бандита Кузнецова, казненного незадолго до революции... Свои разбойные налеты бандиты проводили с неслыханной дерзостью, не считаясь с количеством жертв. Перечисленные ниже вооруженные нападения почти всегда сопровождались убийствами. Наиболее крупными преступлениями, совершенными бандой Кошелькова, являются: вооруженное нападение на типографию Сытина, ограбление правления Виндавско-Рыбинской железной дороги, ограбление завода Корнеева, ограбление Замоскворецкого Совдепа, расстрел на улицах Москвы 22 милиционеров и нападение на Председателя СНК В. И. Ленина (Ульянова)... Однако в настоящее время банда Кошелькова полностью ликвидирована. Сам Кошельков и его ближайший сообщник Сергей Барин убиты в Даевом переулке 21 апреля... При осмотре убитых обнаружено несколько бомб, два маузера, один наган... а также дневник Кошелькова, в котором он клянется «мстить до последней капли крови» своим преследователям, особенно за арест своей невесты Ольги Федоровой...»

Этот документ — память о Тузике. Это память обо всех нас.